



Лева Воробейчик

ПОЛУНОЧНОЕ СИЯНИЕ
ЗВЕЗД

Лева Воробейчик

Полуночное сияние звезд

«Издательские решения»

Воробейчик Л.

Полуночное сияние звезд / Л. Воробейчик — «Издательские решения»,

Вы когда-нибудь писали письма? Подбирали ли такие слова, чтобы смысл их не терялся в веренице дней, чтобы стиль и события были поданы с ювелирной точностью, чтобы тот, кому это письмо было написано... запомнил такое письмо навсегда? Сумеете ли Вы, прочитав то письмо, остаться равнодушными? Успеете ли за полетом мысли влюбленного человека, увидите ли, как одна любовь способна изменить многие жизни вокруг? А, прочтя, зададитесь ли мыслью — умели ли Вы когда-нибудь писать настоящие письма?

Содержание

1. Вместо пролога	6
2. В тени снегов	7
3. Курорт под названием Церматт	10
4. Я и семья Бласс	15
5. 1937 – 1939	21
6. Поезд «Цюрих – Тэш»	25
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Полуночное сияние звезд

Лева Воробейчик

© Лева Воробейчик, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

1. Вместо пролога

Посвящается моей семье и моим друзьям.

Привет, моя дорогая, моя далекая. Моя звезда светло-синих проблесков неба и рассветов, пронзающих ночь. Ты, наверное, еще не спишь, пока я начинаю писать тебе этот мемуарандум, покрытый слоем памяти, нашей памяти, оставшийся единственным верным решением в этом запутавшемся вконец уравнении. Ты, наверное, уже и не помнишь меня, такого старого, забытого и никчемного в серых стенах прокуренной комнатухи, в которых раньше так много проводила времени. Да, я выкупил обратно свою старую квартиру. Мне в ней лучше вспоминать о тебе, моя далекая. Иногда бывает трудно, но...

Но я помню тебя. Помню уже много лет. Помню, как все начиналось еще в подростковом возрасте. Помню нашу первую встречу среди сомнений, недовольства и гнева окружающих. И, конечно же, помню тебя именно той, с кем я впервые встретился глазами и понял, что покорен навсегда.

Среди равнин и гор скалистых,
Среди низин морей и рек,
Мы встретились, и наши искры
Связали нас тогда вовек

Помнишь, как написал я его, вспоминая тот день? Да, знаю, никогда не умел писать стихотворения. Поэзия – это не то, для чего я рожден, – так ты меня уверяла. И я верил тебе, во всем верил. Слова из твоих уст звучали так сладко и непринужденно, что я полностью отдавался в их власть. Помню, однажды ты сказала мне, что жизнь без меня – не жизнь вовсе. И этому я поверил, бросаясь очередной раз в головокружительную пропасть твоих чар.

Я не знал еще тогда, что ты – это нечто, захлестнувшее меня. То, что оставит во мне глубочайший след и не позволит вернуться ко мне прежнему, такому простому, такому... глупому. Я не знал еще тогда, что ты и только ты – та связующая цепь между мной и миром, что без тебя я не стал бы человеком в полном смысле этого слова. Ты научила меня верить и надеяться, стремиться к чему-либо и быть гордым, радоваться каждой секунде нового дня и любить.

Благодаря тебе я стал тем, кем я являюсь и сейчас – взрослым человеком, любящим мужем, отцом двух прекрасных дочерей. Только из-за тебя я решился на какие-то перемены в своей жизни, когда... ну, ты поняла.

Я говорю тебе спасибо, Оливия. Эти строки – так называемый пролог в этом письме, но так же слова любви и клятвы, которую мы обязаны были дать на том скалистом обрыве, будучи молодыми, глупыми и самонадеянными. Это письмо – только для тебя, как напоминание о жизни, важнейшей в моей судьбе. Не моей и не твоей по отдельности. Нашей жизни.

Мне нужно отправляться к дочерям. Они вернулись вместе с женой моей из гостей и им нужно побыть со своим отцом, так что пока я отложу машинку и вернусь к тебе позже, я вернусь... Я вернусь к тебе через мои воспоминания, дорогая моя, далекая.

Ты только жди.

2. В тени снегов

Вот я и снова добрался до моей пишущей машинки, утраченная любовь моя. Я сижу среди стен, знакомых до боли, стен, в которых я провел, наверное, лучшие годы своей жизни. В них я познавал вкус жизни с тобой, пробовал саму эту жизнь, и сам решал, что есть для меня хорошо, а что нет. И все чаще я задаюсь вопросом:

А помню ли я, с чего все это началось? И сам себе отвечаю утвердительно, улыбаясь, совсем как в то время, когда я был рядом с тобой, Оливия. Я вспоминаю нашу первую встречу в заснеженных горах. Тогда, когда каждый из нас бы настолько мал, что не понимал еще всей ответственности, которую мы берем знакомством с друг другом. Если бы я был настоящим писателем, то я начал бы я обязательно с этих строк:

«Мы были молоды, и возраст наш был слишком юн, чтобы оценить всю красоту этой любви, что внезапно осыпала нас с многовековым холодным снегом... Нам было по семнадцать, или около того, и мы встретились в случайном перекрестке двух мимолетних судеб...»

Но я не писатель, дорогая моя. Кто я? Пропавший человек, севший за обычное письмо – но никак не писатель. Ты говорила мне об этом, когда я покупал эту машинку, когда пытался писать свои многострадальные стихотворения, когда в порыве страсти или в припадке ярости я пренебрегал твоим мнением и вступал с тобой в долгие перепалки, сплошь состоящие из моих монологов и редких вставок твоих красивых фраз. Но я пишу тебе – потому что помню... Я помню день нашей встречи, дорогая моя Оливия. Это случилось шестого апреля. Мой отец, помнится, всегда хотел научить меня кататься на лыжах. Это то, чем обычно занимались мои родители по каждому удобному, но редкому случаю – то, что они находили необычайно увлекательным. Я не уверен точно – но, кажется, именно на склоне произошло их знакомство – и я понимал, почему это для них является таким важным. Я, как ты помнишь, никогда особенно этим не интересовался, но в тот раз я согласился, сам не знаю, почему. Видимо, кто-то сверху решил, что мне нужно встретить тебя, моя светлая. Встретить – и потерять себя навсегда, и, знаешь... До сих пор я навеки благодарен ему за это. Ты никогда не спрашивала, кто мой отец. Помню, как ты шептала мне спустя много лет, как мало все это значит для тебя. Ты не хотела знать моего прошлого, останавливая меня на полуслове – и я никогда не противился, но сейчас... Это письмо нуждается в истории моей и твоей, нуждается в деталях и красках. Да, красках. Как иронично! Я... я никогда не говорил, насколько я был обычным, дорогая. Сын текстильщика. Выходец из рабочей среды, где профессия считалась делом достойным, а применение физического труда было началом чего-то великого. Мой отец тогда получил контракт на выполнение гос-заказа, и, успешно и заблаговременно выполнив его, получил неплохие премиальные. На них мы и отправились в горы, на заслуженный отпуск. Для того, чтобы научить меня кататься на лыжах. Чтобы ткнуть меня носом в тебя – и показать мне наконец свою судьбу. Мать моя, чудная женщина, никогда не говорила ничего против моего слова. Я был единственным ее сыном, ее кровью и предметом гордости, сумевшим к семнадцати годам превзойти отца в ремесле. Я был из тех рабочих, что к вечеру перевыполнял план на несколько десятков процентов. Ты видела мои мозоли, оставшиеся от текстильной фабрики в Винтертуре, но никогда не спрашивала, откуда они. А я не мог тебе сказать, что пока ты получала от жизни все, чего хотела – я был обязан по 14 часов стоять возле станка. Я был... впрочем, не важно. Я был рабочим, моя дорогая. Мы приехали в горы четвертого апреля. Я был безучастен и негодовал потому, что родители забрали меня с собой, вместо того, чтобы оставить меня работать. Я не был фанатиком, ты же знаешь, ты все-все знаешь, но работа хорошо сказывалась на мне. Мой непосредственный начальник отмечал мое усердие и поговаривал, что скоро я получу повышение. Меня это очень радовало, поэтому эту поездку я принял с неодобрением. Но отец, заведующий небольшим цехом, уговорил меня. Он так и сказал мне:

– Послушай, Кристофер., – говорил он, улыбаясь мне своей самой теплой улыбкой. – я знаю, что ты работаешь для всех нас, чтобы помочь нам жить лучше. Но мне заплатили приличные деньги и мы просто обязаны выбраться на отдых. Отдыхать тоже нужно, понимаешь? Ты понимаешь? Такой он был, мой отец. Добрый и умный. Всю жизнь пропахал на том чертовом заводе и добился только лишь цеха. Цеха по прессовке волокон в ткань, представляешь? Но не будем об этом. Все дело в тебе, и ни в ком другом, моя далекая, а я... Я отвлекаюсь. Шестого апреля я с неохотой взял в бюро себе лыжи и палки, уже предчувствуя, что ничего хорошего из этого не выйдет. Во мне зрело чувство отчужденности, и, казалось, горы были не рады мне. Ветер то и дело срывал с верхушки холодные потоки ветра, ноги по колено проваливались в снег; похолодало. Я брел угрюмо за родителями, стараясь особенно не отставать, чтобы не получить нагоняй от отца. Мои щеки горели от завывания ветра на высоте снежной горы, по которой мы карабкались. Аномальное похолодание в тот год было столь же удивительным, как и то, что начало происходить со мной, начиная с того памятного дня. Итак, перед глазами до сих пор стоит безмолвная картина: впереди на лыжах идет мать, за ней неуклюже семеню я, а следом с довольным видом скользит мой отец. Он раздувается от важности за свой скромный, но гордый рабочий выводок. Я оступаюсь; лыжа попадает в снег. Неумело вытаскиваю ее и продолжаю небольшой подъем. Снег летит мне в лицо, мгновенно заслоняя мне весь обзор, палки грозятся выскользнуть из рук, а лицо сковывает неожиданным апрельским морозом

Весь мир переворачивается у меня перед глазами, когда отец подходит ко мне, отдыхающему после подъема и говорит:

– Погляди-ка вниз, Кристофер. Я гляжу и вижу перед собой белый мир. Воздух был, казалось, наполнен электричеством и способен зарядить собой всю планету. Макушки деревьев, торчащие из под километров растянувшегося снега, тихо перешептывались о чем-то своем на ветру. Я оглядывал этот новый дивный мир и не верил, что еще раньше все это было сокрыто от глаз моих! На площадке были не только мы, несколько других семей также взбирались сюда, чтобы оценить все, что было создано за миллионы лет до всех нас. Мы стояли и смотрели, человек десять, на то, как под нашими ногами мир имеет то, что давно утратил в процессе индустриализации, пока ветер холодил мои плечи и выдувал дурные мысли. Мы смотрели на природу в первозданном виде, ощущая себя великими, ощущая себя... свободными. Отец, я помню, стоял и улыбался, смотря на мое удивленное лицо. Он подошел ко мне, обернулся и приобнял меня за одно плечо, ничего не сказав. Я понял его без слов. Я понял тогда, что этот день станет поистине великим. А потом, не произнеся ни звука, отец прыгнул на снег и покатил к открывшемуся мне простору. Я восторженно наблюдал за ним, за человеком, чья судьба не ведает страха, за человеком, всю жизнь отдавшим для того, чтобы его семья наконец-то смогла почувствовать себя теми, кем они всегда и являлись. Людьми, перед которыми открыт весь мир. Он словно парил, скользя по гладкому подобию швейцарского асфальта, проходил повороты на огромной скорости, прыгал на небольших возвышениях и мягко приземлялся, не замедляя ход. Казалось, он будет нестись так вечно. Но вот я вижу, как он начинает тормозить, входя в очередной поворот, после чего все тело его напрягается для замедления хода. Он плавно тормозит за несколько сот метров до первого дерева, после чего разворачивается снимает с себя солнцезащитные очки и вытягивает свою руку в приветственном жесте. И только тогда я понял, как нелепо я выглядел последние несколько минут: тело подано вперед, глаза широко раскрыты, ладони сжаты в кулак. Я смотрел на его спуск и шептал, казалось, беззвучно: «да, да, да!». Следом за отцом пролетела какая-то тень. Я не успел ее толком рассмотреть, не успел понять, кто это, правда тогда это не имело ни малейшего значения. Тень пронеслась рядом со мной, чуть меня не задевая. Ты помнишь это, не правда ли? Как в страхе я чуть не отпрянул, но лишь усилием воли остался стоять и смотреть обезумевшим взглядом на отца, медленно карабкающимся на нашу подготовленную курортом обитель. Ты, наверное помнишь, как следил я, не отрываясь, за каждым действием, чтобы вдруг не перепутать расположение

ног или рук, когда выйду впервые на трассу, чтобы не нарушить тот святой обычай, позволяющий людям стать теми, кто покоряет снежные пустыни? И ты, вероятно, помнишь, как я подался к своей матери, умоляя ее лишь об одном, самом заветном моем желании – ощутить себя настоящим, покорив этот неприступный, казалось бы, спуск

Мать моя не стала даже слушать. Она ласково улыбнулась мне:

– Покажи им, Кристофер. Я посмотрел в последний раз на всех, кто стоял на площадке. Будто бы говоря всем – запомните меня таким, больше таким я никогда не буду. Я проглядел каждое лицо мельком, ты помнишь? Ты помнишь, как ухмылялся кто-то там, на склоне, когда я на него посмотрел, как неодобрительно хмыкнул твой отец, и как что-то пробурчал сосед по левую от тебя сторону, столкнувшись с моим сияющим лицом? Скажи, ты помнишь, как на тебе мой взгляд задержался дольше остальных? Оливия, моя Оливия... Во мне тогда не было места страху. Действительно. Я помню, как стоял там, преисполненный решимости, имея перед собой лишь одну цель – добраться до низу. И я сделал шаг вперед. Сразу же я чуть не упал. Видимо, кто-то сверху не хотел, чтобы я сразу потерял равновесие, поэтому я удержался на ногах. Я внимательно наблюдал за отцом, поэтому я постарался как можно скорее согнуть ноги в коленях и подать свое туловище немного вперед, чтобы ускориться. Я смотрел на приближающуюся фигуру отца, который размахивал руками и что-то кричал мне. Но я не слышал. Я летел по залитому солнцем океану, по просторной глади моей мечты, сформированной пятью минутами ранее. Я летел навстречу первому повороту, одновременно восхищаясь им и боясь его. Но я не упал. Ни тогда, ни потом. Каким-то образом я выстоял на ногах и уже снова мчался к приближающимся макушкам деревьев, которые становились все четче. Я запаниковал, но вспомнил то, чему научился от отца во время его спуска. Я начал поворачивать лыжи поперек спуска. Признаюсь, я не знал тогда, что это может быть опасным. Спуск был крутым, и, регулируя положение подъема стопы, я наконец-то смог остановиться. Еще бы чуть – чуть, и я бы въехал в одну из сосен, начинавшеюся не так уж и далеко. Я обернулся посмотреть на проделанный путь. Площадка находилась довольно высоко и я никак не мог понять, как мог преодолеть такое расстояние за столь короткий срок. Отец был уже почти наверху. Я знал, что он наблюдал за тем, как тормозил я, но убедившись, что все в порядке, продолжил свой путь. По склону катился какой-то человек. Он легко преодолевал поворот за поворотом, где нужно – прибавлял скорости, а где нужно – понижал ее. Я решил не задерживаться внизу и начал свой путь наверх. Солнце слепило мне глаза, снежинки ровным слоем ложились мне на щеки, а в голове приятный гул перемежался с откровенным ощущением радости.

Милая моя, ты помнишь, как влетела в меня, словно пуля, отбросив меня вниз, словно запоздалый снег? Я помню. Я лежал в снегу, пытаюсь разлепить глаза и понять, что же такое со мной только что произошло. Очки мои улетели в сторону и на минуты, нет, часы, я был ослеплен. Сначала это был снег, который мне приходилось вычищать из глаз, рукавов, из-за пазухи. Ну а потом, конечно, была ты. И я ослеп уже не на минуты, а на годы, на долгие тринадцать лет.

Ты встала раньше меня, присвистнула, протянула мне руку. И своим нежным грудным голосом ты сказала мне, о милая, :

– Вы не ушиблись?

Я ответил, что нет, и что все в порядке. А потом ты мне улыбнулась. Той своей улыбкой, ради которой я готов пережить все те ужасы, что со мной случились позже. Ради которой готов я был бы предать все то, ради чего стоило жить, ради которой я готов буду отдать жизнь, увидав ее сейчас. Ты улыбнулась, моя милая, и сказала мне:

– Меня зовут Оливия.

3. Курорт под названием Церматт

Ты знаешь, я помню тот день ярче всех остальных в своей жизни. Правда, помню. В тот день что-то внутри меня изменилось, закончилось одной фазой и трансформировалось в другую, будто бы случился тот робкий момент, меняющий день на ночь, зиму на весну, а век меняющий уже веком следующим. Мой отец и моя мать стояли где-то там сверху, наблюдая за сыном, не делая попыток вернуть его наверх, словно понимая, чем все это может закончиться. Я стоял и не мог позволить этому счастливому мгновению закончиться, помнишь? Я был робок с тобой, как мальчишка, но ты, казалось мне, все понимала. Вот я снова закрываю глаза и вижу тебя в бледно – синей дымке, окутавшей нас наступающими тогда сумерками. Солнце светило уже не так сильно, а ты стояла и выжидала, улыбаясь и говоря без умолку, давая шанс мне разглядеть тебя, как никого другого! Ты стояла рядом, а я был еще слишком глуп, чтобы наслаждаться этим – ведь для меня ты была просто еще одной красивой девушкой, которую я не мог тогда заинтересовать. Но в то же время мне было понятно и кое-что еще: таких, как ты, моя Оливия, белый свет еще не видел. Ты стояла передо мной, богиня солнца, лета и пахнущих травами леса, улыбаясь, словно жизнь твоя – лишь игра, а наше знакомство – непреклонное ее правило. Твои темные волнистые волосы выбились из под шапки, спадая длинными прядями на скрытые плечи, обозначая границу дозволенного. Твои губы (ты помнишь?) кривились в усмешке и расплывались в широкой улыбке, обнажая ровные белые зубы, а. лицо с оттенком недавнего загара освещали последние блики уходящего дня. Я закрываю глаза в выкупленной мною недавно квартире, на секунду отрывая пальцы от пишущей машинки, и вижу тебя в полузабытом мире прежних лет. Переношусь вместе с памятью в 1937-ой, на курорт под названием Церматт, что находится на юге страны, из которой я родом. Я вижу, будто бы вчера, как на фоне отеля «Перрен» мы стоим с тобой, не сводя глаз друг с друга, под разрастающееся веселье на горнолыжной трассе «Теодульглетчер». Ветер завывает над Маттерхорном, с высоты в 4,5 тысячи метров слетает на нас и обдает нас ледяным дыханием, утверждая свое господство над всеми нами. Там, в этом дивном воспоминании ты, ты, которая стоишь и ежишься, а потом говоришь мне игриво:

– Кристофер, может, поднимемся наверх? Я улыбаюсь и говорю, что сам давно хотел это предложить тебе. Мы начинаем наш первый путь вверх, дорогая моя. Первый из многих путь, единственный путь, что увенчался успехом. Снег хрустел под нашим весом, дыхание делалось частым и прерывистым, и мое громкое сопение начинает уже долетать до твоего слуха. Но несмотря на это я предложил понести твои лыжи, помнишь? Ты согласилась, и вот уже ноша твоя в руках моих, и ты легко обгоняешь меня на полпути к верхней части горнолыжной трассы. Изо всех сил стараясь, я поддерживал разговор как мог, а ты, словно парящая птица, все щебетала и щебетала в предзакатном мареве Юго-восточных Альп. Мы продолжали подъем под аккомпанемент легкой вьюги и того нежного чувства, что начинало зарождаться у меня в груди – и в этом нет ничего удивительного... Сейчас я до сих пор не могу понять, за какие такие качества ты выбрала именно меня, правда. Кого именно ты увидела, поднимающегося из снега? Паренька из небогатой семьи, выросшего в Винтертуре, небольшом швейцарском городке, или же нечто большее? Может ты увидела того, в кого стоит влюбиться самый свой первый раз? Я не уверен точно, и тем более не уверен сейчас, когда все случилось так, как и должно было. Но я знаю, знаю, знаю, что встреча эта произвела не была той роковой случайностью, что происходит на каждом шагу более или менее обычного человека, которым был я, Оливия! Что уж тут говорить обо мне?!

Я невольно перевожу взгляд от одной бездушной вещи (которая помогает мне писать это письмо) к вещи другой, той, о которой ты, наверное, уже и не вспомнишь. В моей (нашей) старой квартире сохранилось памятное фото с Церматта, датированное шестым апреля 1937ого

года. Ты помнишь его, моя далекая? В минуты грусти и печали оно помогало мне, давало мне сил и множило уверенность мою, уверенность в том, что наша встреча была райским подарком, написанным на скрижалях наших судеб – и что тесно переплетенная нить наших историй не прервется никогда... На том фото мы стоим рядом, уставшие, рука моя лежит на твоём плече, а твой взгляд... Видно, что ты по-настоящему счастлива. Я вижу также и себя, взломаченного и слишком пока еще молодого парня, лицо которого так и светится. Темные волосы средней длины торчат в разные стороны, улыбка перекрывает синяк под глазом и ссадину на левой щеке. Кажется, нас тогда фотографировал мой отец, но это не имеет значения. Имеет значение лишь то, что мы на том фото стоим рядом, мы вместе, и нам не хочется расставаться. Но вернемся к шестому апреля. Мы поднялись уже на площадку, но не увидели никого вокруг. Только ты и я на вершине мира, помнишь? Восторг, смешанный с удивлением – и гулко забившееся сердце, когда я наконец понимаю, что происходило прямо тогда, на том склоне, где еще полчаса назад я был простым пареньком из Винтертура, а, увидев тебя, стал совершенно другим. Стал заложником твоего взгляда, пленником любви, подкравшейся и нахлынувшей на меня незаметно! Я удивленно присвистнул, и, кажется, сказал тебе следующее:

– Похоже, нас тут забыли, – надеясь, что родители не выбегут из-за угла и не испортят это мгновение.

Время шло, они не появлялись, а ты... А ты повернулась ко мне, и с самой обворожительной своей улыбкой говоришь:

– Значит придется проводить меня до отеля, Кристофер. И, развернувшись, ты начала уверенно шагать по дорожке, ведущей к «Перрену». Где-то вдалеке находились удаляющиеся силуэты, идущие той же дорогой. Наверное, те тени и были нашими родителями – как знать, дорогая моя, как знать... Судьба – это удивительное совпадение счастливых и не очень случайностей, имеющих определенную последовательность и цель. Мы тогда еще не знали, что наше знакомство породило знакомство и наших семей, как это обычно бывает в нашей сложной, непредсказуемой жизни. Как позже говорила мне мать, она придвинулась к самому краю, наблюдая за своим сыном, только-только вставшим на лыжи. Рядом с ней появился твой отец, наблюдающий за дочерью. Ободриательные крики, переживание за нас обоих – все это породило взаимопонимание двух любящих сердец. Позже, когда мой отец поднялся на площадку, он застал уже мать мою всю беседующую с твоими родителями, моя дорогая. Оказалось, что твой отец был держателем крупного пакета акций фирмы «Зельгер», которая в то время выпускала оборудование для текстильной промышленности. Они быстро нашли общий язык, разговорившись на профессиональную тему. Подождав еще немного, они решили продолжить свой разговор за совместным ужином, который спонтанно решили устроить. А в это время мы неловко поддерживали разговор там, внизу. Я закрываю глаза и вижу нас тем холодным апрельским вечером, той аномально необоснованной весной 1937-го года. Я брел по снегу, сжимая две пары лыж, за тобой, а в спину меня подгонял тогда ветер. Мокрые волосы липли к голове, а ты была маяком моим в океане из белых хлопьев и туманных гор, теряющихся среди небес. Я еле переставлял ноги, но заставлял себя сделать еще шаг-другой; и счастье, захлестнувшее меня, было главной мотивацией продолжать движение по пути в отель. Сейчас, спустя много лет всплывает яркое воспоминание: ты обернулась, тогда, когда я уже готов был сдаться, начать просить тебя о привале, чтобы немного отдохнуть. Но твой взгляд, твоей ни с чем не сравнимый взгляд – вот все, что было нужно! И вот уже практически бегу я, догоняя тебя на пути к счастливейшему вечеру в моей жизни. А вот уже перед нами искрит огнями помпезный «Перрен». Мы шли с тобой со стороны Маттерхорна, когда он вырос перед нами, огромный, вечный, несокрушимый. Рядом с ним располагались домики поменьше, светлые и уютные, но только «Перрен» относился к цели путешествия, нашего первого и оттого запоминающегося путешествия среди пурги и снежной метели в аномально холодный апрель 1937го. Огромное здание, выполненное в темно-коричневых тонах верхней части, и белых в нижней,

так и манило нас внутрь, в просторные залы, шикарные рестораны, к теплу горящих внутри каминов и аромату швейцарских блюд. Здесь, в Юго-восточной части Альп, он был настоящим замком, оплотом уюта на многие километры вокруг

Раскрасневшиеся, мокрые и счастливые, мы зашли внутрь. Никакого удивления не было ни на глазах менеджера по обслуживанию, ни на глазах отца моего, терпеливо ожидающего нас в теплом просторе гостевого зала «Перрена». По всему его внешнему виду я понимал, что он тщательно готовился к тому, чтобы выйти в свет. Где-то нашел себе костюм, простенький и недорогой, но смотрящийся на нем весьма достойно. Он был задумчив, тяжелые морщины, прорезавшие его высокий лоб, выдавали его возраст, а глаза бежали по залу высматривая кого-то. Он сидел и стряхивал пепел в пепельницу, видимо, ожидая мою мать. Вдруг он увидел нас – и улыбка появилась на его лице. Вставая, он чуть не опрокинул пепельницу, заставив меня покраснеть, но, кажется, этого не заметил. Он двинулся нам навстречу так неторопливо, помнишь, дорогая моя? В приветствии раскрыл руки для объятий и начал хвалить меня:

– Кристофер, мой мальчик, я так тобой горжусь! Я улыбался тогда, верно, но обнимать его мне не хотелось. Несомненно, думал тогда я, она заметила чудом спасенную пепельницу. Я еще не знал твоих родителей, но его манеры выдавали его как человека из низшего общества, а ты... По одному взгляду на тебя становилось понятно, кем была ты, кем были родители твои и как ты могла отреагировать на моего глупого отца... Но спасибо тебе – ты ничего не сказала. Ни тогда, ни когда-либо потом

– Да, спасибо, отец. – Его руки поперек с моим мнением обвили меня на секунду, но этого оказалось достаточно. Его глаза сияли, пока я говорил ему:

– Ну, на самом деле ничего такого... – ...Ничего такого?! Мальчик мой, ты никогда прежде не стоял на лыжах, но сегодня своим спуском ты поразил всех, – начал он, пока взгляд его, преисполненный гордости, останавливался то на мне, то на тебе. – Ты доказал, чего стоишь на самом деле. Так здорово, что ты не сгруппировался, а поехал с нами на... – Отец, ты, кажется, не знаком с Оливией? – перебил тогда его я. Он перевел взгляд глаз своих с меня на тебя – и вот уже учтивое пожатие твоей руки становится приятным для меня жестом, пока он кланяется как можно медленнее. – Мы познакомились с ней на спуске.

– Я знаю, сын; я наблюдал за тобой. Оливия, Генрих Мозес к вашим услугам, – еще раз поклонился отец.

– Оливия Бласс. Приятно познакомиться, – ответила ты ему – и я заметил, что взгляд твой выдал заинтересованность в моем отце, что несказанно удивило и обрадовало меня.

Мы стояли в гостевой зале «Перрена». Где-то в углу, скрытом от моих глаз, я слышал тихо льющуюся мелодию. Я не уверен, но чьи-то пальцы, кажется, перебирали струны арфы или какого-то подобного ей инструмента, зачаровывая меня, приковывая к себе все внимание. Но не только этот звук был в моей голове – там была еще ты, конечно, не такая, как в жизни, но ты уже была там, заполняя собой все пространство нейронных связей и участков мозга, отвечающих за все возможные процессы! Но не только ты была удивлением моим – но и обстановка, ведь никогда еще прежде я не встречал той красоты, что поджидала меня в «Перрене». Въезжая, я видел это и прежде – но рядом с тобой все менялось, приобретая новые краски и оттенки, играло в новом свете и отображалось прекрасной иллюзией былого мира. Мы стояли и не мог отвести глаз я от великолепия, коего не видывал никогда прежде в своем небогатом районе Винтертура, где самым приятным для взора местом был только лишь собор Санкт-Лоренц. Да, конечно были в моем родном городе и многочисленные музеи, и железные дороги, и зелень каждую весну, но все же. Я никогда прежде не бывал среди роскоши и богатства, а здесь я просто купался в нем. И только ты была причиной тому, моя далекая...

– ...Хорошо, Кристофер? – напоследок поинтересовался мой отец. Я стоял и внезапно понял, что все это время он говорил не с тобой, а мне пытался поведать что-то. Я оторвал свой взгляд от очередного красивого костюма, повернулся и начал шуриться, будто бы не желая

переключаться на отца, такого знакомого и такого бедного, после всего увиденного вокруг. Ты, насколько я помню, начинаешь смеяться надо мной, но не насмешливо, не обидно – по-доброму смеешься над моей оплошностью.

– Прости, отец, я, кажется, отвлекся, – оправдывался я, потупив глаза. Отец ничего не ответил мне, а лишь вздохнув, повторяет заново.

– Я говорю, что я направляюсь на ужин с нашими новыми знакомыми. Ты желаешь пойти с нами?

Я тогда даже не знал, что и ответить. Не мог представить я тогда, что отец, управляющий цехом по переработке, обычный рабочий более высокого ранга, чем я, будет ужинать с кем-то из «богемы», обитающей там.

– ...Кристофер! – Да, да, я здесь, – немного нервно ответил ему я. Пойти или же нет? Как я буду представлен в этом свете? Как сын рабочего, который сам – рабочий? Я тогда совершенно этого не знал. Хотя еще день назад я не задался бы таким вопросом. Для меня тогда не существовало никакой разницы, но позже, когда я наконец встретил тебя... Я осознал, что все будет иначе – все перестанет быть прежнем, пока существуешь ты, а глаза цвета ясного неба смотрят прямо на меня, выжидая решительных действий. – Я, наверное, останусь в своем номере. День выдался тяжелым и все такое... И я никого не хочу видеть кроме нее, отец – вот чего я тогда не сказал. Хотел, но еще не мог – и отец будто бы не понимал этого, настаивая одним только взглядом, пока я не был ошарашен еще одной приятной новостью

– Может все-таки изменишь свое решение? – Это говорил уже не мой отец. Это говорила ты, пока на губах у тебя играла полу ироничная усмешка, а глаза горели синим пламенем. – Это с моими родителями сегодня будут ужинать твои. И именно тогда произошло мое первое превращение – я изменился, потому что этого просила ты, одними только глазами, Оливия. И вот уже из сына рабочего, из стыдливого сына этого сложного мира я становлюсь уверенным в себе мужчиной. Я становлюсь бессмертным титаном, Колоссом для всего греческого населения, заключенным в обличье твоей красоты! И как был рад я, как засияли глаза мои и воспела душа, только услышав эти счастливые и великие новости, Оливия! – Да, все верно. Я иду, – улыбнулся тебе я, получая ответ в такой же милой сердцу форме изгиба губ твоих

– Тогда у тебя есть полчаса на душ и достойный внешний вид, Кристофер, – снова хлопнул меня по плечу отец. – Мы будем на втором этаже, ты, я думаю, увидишь нас там. Крайний столик у окна, что открывает вид на Маттерхорн. Оливия, ты же тоже будешь там?

– Конечно, господин Мозес, – улыбнулась ты, после чего повернувшись ко мне и произнеся просто, – Увидимся, Кристофер.

– Подожди-ка, Оливия, – спохватился отец, подзывая какого-то молодого человека. – Фото на память?

И вот мы, стоящие рядом – ослеплены вместе вспышкой новомодного фотоаппарата, за которым стоял улыбчивый молодой человек из персонала «Перрена».

А потом ты упорхнула. Обернулась и унеслась в сторону своего номера, легко и изящно, несмотря на долгий путь к отелю и усталость, пронесенную нами через весь этот день. Твоя улыбка оставляет след – и если бы не срочность и спешка, с которой мне стоило готовиться к ужину – я прошел бы по нему, настигая тебя, даже закрыв глаза – такое ты производила тогда впечатление! И я захлебнулся в глазах твоих, задохнулся запахом, потеряв счет времени – даже не обращал внимания на взгляды людей, проходивших мимо. Потому как, опомнившись, я удивился, обнаружив в руках лыжи, так и не отданные в бюро. И как только я заметил это, отец бросил вслед мне фразу, одну из тех, что запоминается на всю жизнь, что навещает тебя во снах и становится ответом на самые сложные вопросы:

– Эта девочка – лучшее, что с тобой могло бы случиться здесь, сынок.

И, прежде, чем отправится наверх, прежде чем подготовиться к одному из самых памятных вечеров в моей жизни, я отвечаю ему, улыбаясь:

– Я знаю, отец, – и улыбка в очередной раз осветила его немолодое лицо. – Я знаю.

4. Я и семья Бласс

Маттерхорн был освещен прожекторами; я сидел и смотрел на него, неохотно отрываясь от своего айнтопфа. Я не мог есть без присутствия твоего, потому как мне казалось, что нарушаю я данное тебе обещание – обещание, которого никогда не было. Наши родители обменивались любезными фразами, так, что истерлась всякая грань между простым управляющим цеха и совладельцем «Зельгера», Иохимом Блассом, отцом твоим, дорогая моя. Я присоединился к ним как можно скорее, пулей промчавшись сквозь удивленные ряды постояльцев «Перрена», но, как оказалось, зря. Ведь не пришла ты к назначенному времени, а мне пришлось дожидаться тебя именно там, вдыхая вкусный запах горячей еды. И шукрут, остывающий на моей тарелке, уже не так меня к себе располагает, пока горечь от потери твоей так горька, а все кругом – так отвратительно серо. От отчаяния я не мог никак слышать голоса наших родителей, ведущих милую светскую беседу – только окно с видом на Маттерхорн привлекало мое внимание. Отец, кажется, меня вовсе не замечал, хотя речь, кажется шла именно обо мне. Стол и сидящие за ним люди абсолютно меня интересовали, но там, вдали... Вечер за окном сгустился и заволакивал собой все пространство, бывшее раньше светом, а я, такой взъерошенный и одинокий упрямо ковырял вилкой раскрасневшееся от пара мясо, думая не о том, о чем в такие моменты принято думать. Мимо нашего стола пронеслись двое счастливых детей, громко кричащих на бегу, рассказывающих всем постояльцам отеля о впечатлениях этого вопиющего апреля, не уступающего в этот раз зиме с ее холодными прикосновениями и теплыми вещами на молодых пока еще телах. Следом за ними прошла пожилая пара, словно бы давая понять, как скоротечна эта жизнь, но и как она порой бывает счастлива – это было видно в этих нежных взглядах двух людей спустя годы и расстояния, взлеты и падения, перемирия и войны, разгорающиеся каждый раз с новой, яростной силой. А я смотрел на них и слушал завывания ветра, вместо того, чтобы ловить каждое слово сидящих подле меня взрослых людей. Я был слишком задумчив, и даже немного несчастен. Отец, видимо, заранее подготовил мне выходную одежду, которую мне предстояло надеть на тот вечер – и вот я снова вижу в отблесках своей памяти, как сижу в своих прямых брюках бежевого цвета и стараюсь выглядеть как можно логичнее среди взрослых, разгуливающих по залу в черно-белых фраках. Моя рубашка была аккуратно выглажена, запонки стягивают рукава, а мой самый первый галстук был неумело обвязан вокруг шеи, давая всем понять, как часто выхожу я «в свет». А меж тем отец мой слушал выпад блистательного и неотразимого Иохима Бласса, тот, ради которого я в очередной раз оторвался от окна, не сумев опять сдержать свое неумное любопытство:

– ...Но подождите, Генри! Разве запрет на вооружение какой-либо страны – это необходимые меры, по-вашему? Отец, мой бедный отец. Он сидел рядом с с этим колоссом, неподвижным на своем месте и пытался говорить о тех вещах, что не могут поддаться пониманию простого управляющего цеха. Он пытался парировать выпад:

– Америка, на мой взгляд, уже который год ведет себя неоднозначно, – так начал он. Лицо его было немного пунцовым от вина, но он продолжает, не смотря ни на какие помехи. – Началом, безусловно, была мировая война. Ее политика невмешательства говорит о том, что по большому счету ей наплевать на все то, что происходит в Европе, пока ее деньгам ничего не угрожает. Но их кризис начала тридцатых ясно показал, что они боятся. Боятся больше, чем... -Генри, подождите, я перебыю вас, – отвечал ему твой отец. – Потери Америки, может быть, были не такими масштабными, но ее позиция позволяет ясно понять, как сильно ей выгодно сотрудничество на международной арене. -Пауза. – Тем более сейчас, когда наши соседи так явно стремятся развязать новую.

– То есть вы утверждаете, что запрет на вооружение Испании нужен лишь во благо, да? – повысил тогда голос мой отец, впервые за тот удивительный вечер. И, не дождавшись ответа,

он продолжил, – Но не забывайте, Иохим, что Испания – европейская держава, и кто знает, кому в следующий раз они захотят что-либо запрещать – Англии, Франции, или, может быть, и в Швейцарию со своими советам придут?!

Иохим Бласс внимательно выслушал моего отца, склонив голову слегка набок, после чего сказал мягко, но уверенно, ставя точку в затянувшемся, по-видимому, споре:

– Вы забываете, Генри, что и Германия – европейская держава. Чуть больше двадцати лет назад она уже несла ощутимую угрозу и была в состоянии расколоть мир пополам. Сейчас она – еще страшнее с ее национал-социалистическими догматами, о которых вы, верно слышали. Вы воевали в мировой войне? Скажите, Генри, воевали? – Вопрос повис в заряженном спором воздухе, не вызывая никакого отклика со стороны отца. – Мне не довелось тогда воевать. Как вы знаете, мы, швейцарцы, войны не любим. Но мой отец был мобилизован прямо на границу, недалеко от Италии. В нескольких сотнях километров отсюда, на перевале Пассо Стельвио он и многие его приятели ощутили на себе всю тяжесть войны. О, конечно это была не война, так, маленькие стычки, не более. Но он видел смерть своих друзей. Слышал взрывы, переходящие от одной страны к другой, катящиеся по линии границы, словно снежный ком, который вы можете заметить, если слишком пристально засмотритесь на Маттерхорн. И, что самое ужасное, – Иохим понизил голос так, что мне пришлось податься вперед, чтобы не пропустить ни единого слова. – Что самое ужасное, что уехал он моим отцом. А через три месяца вернулся для меня уже совсем чужим человеком. Он был сломлен, разбит, уничтожен – называйте, как будет угодно. Только это не был мой отец. Вот что делает война с людьми, Генри. А вы утверждаете, что Америка – просто зазнавшаяся верхушка трусов и глупцов, потому что они не отправляли людей на смерть и безумие. Тишина воцарилась за нашим столом. Я, еще несколько минут назад бывший в состоянии задумчивости и одиночества, вырываюсь из него. Я слушал твоего отца, и мне стало страшно – потому что я представил все это, примерив на себя. Отец мой, бывший уверенным во всем на свете, за минуту узнал, что есть на свете то, чего он не мог еще знать, чего не мог он прочесть в газете или услышать от коллег и подчиненных. И, не желая продолжать спор, Иохим Бласс сказал последнюю серьезную фразу за тот вечер, Оливия:

– Если бы наше правительство сделало так, как Америка, – тихо произнес тогда он. – Быть может, мой отец до сих пор был бы жив, а не потерян навсегда на перевале Пассо Стельвио. – С этими словами он поднялся, отряхивая свой пиджак, и сказал, обращаясь ко всем. – Прошу меня извинить. Я скоро опять к вам присоединюсь. Он повернулся к нам спиной, и неторопливо отправился к концу зала. Его удаляющаяся фигура стала знаковой, тем, что вспоминаешь даже через десятки лет, когда рассказываешь кому-либо о непоколебимой силе характера. И пусть больше я никогда его не видел, пусть знакомство наше продлилось всего один вечер – я благодарен ему за то, что показал он мне, какого это – быть взрослым человеком.

Он практически прошел до конца зала, когда какая-то роскошная девушка окликнула его. Он стоял и разговаривал с ней, просто так, внезапно рассмеялся и указал пальцем на наш столик. Твоя мать, хрупкая тридцатипятилетняя женщина, встала с места, поправила прическу, и, обернувшись к нам, объявила:

– Генри, Маргарет, Кристофер – это моя Оливия. У меня перехватило дыхание – в первый, но далеко не единственный раз за тот удивительный вечер. Я пропал в синеве твоих красивых глаз, погиб на месте от красоты твоей, заставившей мужские сердца всего зала биться с разной частотой – быстрее или медленнее, а у некоторых, быть может, и остановившихся вовсе. Ты шла в своем алом платье, сверкая ярче блика солнца, что пробивается через сквозные тучи; ты ослепляла и делала с нашими взглядами то, чего не позволил себе бы даже самый сильный магнит в набитой железом комнате. Я потерял ощущение реальности, пока ты, моя прекрасная, делала шаг за шагом по направлению к нам, когда губы твои изогнулись в улыбке, и явление твое стало означать стократно больше для меня, чем явление самого первого Бога для сомневающихся в нем грешников. Ты села на свое место и с удивлением посмотрела на мое лицо,

словно бы видя меня впервые. На губах твоих была легкая усмешка, удивительное сочетание нежности и радости, удивления и иронии, светского такта и природного обаяния. Твои глубокие и синие глаза призывали меня броситься к ногам твоим, поднимать тебя на руки и качать, осыпая руки твои поцелуями и крича, как сильно мне все это по душе. И глаза просили меня еще об одном. Утонуть в них, остаться навсегда, не делая робких попыток выбраться из-под власти чар, что ты выбрала себе в спутницы жизни. И я не мог ослушаться, понимаешь?

Ты отпила немного из фужера, что принес тебе официант. Я перевел на него тогда взгляд, и невольно напрягся – потому как он видел абсолютно то же, что и я. Душа моя в тот миг готова была рычать и плевать желчью, но ты сказала ему несколько слов, и он поспешно удалился.

А следом ты сказала мне, заглядывая в душу:

– Привет еще раз, Кристофер.

А я, смутившись, ответил тебе, глядя прямо в глаза (на что, кстати, ушла вся моя непоколебимая воля):

– Привет еще раз, Оливия.

– Мама, мамочка, успела ли ты увидеть, какой великолепный спуск я провела? – спросила ты у своей матери, Кристины Бласс. Глаза твои горели синим пламенем, а на лице была улыбка, вмещающая в себя фантастическую смесь радости, восторга и счастья. – Если честно, вначале я безумно боялась, но увидев, как какой-то парень, мой ровесник, прыгнул вниз, мои сомнения ушли, понимаешь? Кстати, это и был Кристофер, мама, – говорила ей ты, деликатно указывая на меня рукой и слегка подмигивая.

– Конечно, я все видела, – благосклонно отвечала твоя мать, с гордостью посмотрев на нас, хоть и недолго. Правда, тогда я заметил кое-что еще. Всего тень, малую тень неодобрения, промелькнувшую за мгновение. Но я быстро отогнал от себя это видение, когда она продолжила. – Послушай, Оливия, как ты видишь, мы разговариваем с родителями твоего нового друга, и, я уверена, что тебе будет в разы интереснее общаться сейчас с кем-то своего возраста, – многозначительно заключила она, делая легкий кивок в мою сторону. Мое сердце, казалось, хотело выпрыгнуть наружу, и остаться в поле зрения глаз твоих, трепыхаясь и обливаясь кровью, но я твердо решил не портить вечер подобным образом. Ты сидела вполоборота ко мне, держа в руке бокал с хорошим итальянским шампанским, спрашивая меня, как проходил вечер в компании наших родителей. На это я отшучивался, говоря, что сроду не бывал в таких местах и все здесь так отдалено от маленьких кафе Винтертура, где обычно я проводил свое время раньше, гораздо раньше, словно тысячу лет назад. Ты сидела вполоборота и, казалось, наслаждалась каждым мгновением – и я готов и сейчас поклясться, что тогда тебе было по-настоящему хорошо рядом... рядом со мной. В этот момент неожиданно возвратился Иохим Бласс, надев привычную маску для подобных в его кругах мероприятий. Лицо его было уже не тем, что прежде, и глаза горели каким-то новым блеском, говоря нам о том, что тема войны оставлена где-то на задворках его сознания и о том, что больше жарких споров этим вечером не предвидится. Но первым делом он обратился к нам:

– Кристофер, Оливия, наконец-то вы нашли себе компанию по душе! Настоятельно рекомендую не слушать, а тем более не вступать в наши словесные перепалки! – Он улыбнулся, подмигнув тебе. – И еще, дорогая моя – аккуратнее с этим парнем! Он, как я слышал, не сегодня – завтра одолеет самого старика Маттерхорна, который высится над нашими головами! И столик взорвался тогда одобрительным смехом. Я, кажется, даже улыбался, даже, наверное, слишком сдержанно для той радушной атмосферы внезапного праздника. Твой отец сел за столик и обратился к жене и моим родителям, радостно жестикулируя, повысив голос:

– Итак, предлагаю тост! За Кристофера, покорителя гор, и за Оливию, покорительницу покорителей!

Опять смех. В этот раз шутка прозвучала в разы лучше и вот уже я присоединяюсь стуком своего фужера о фужеры семей наших, ловля на себе доброжелательные и немного хмельные

взгляды, не выражающие ничего, кроме любви и ободрения, радости и веселья. Отбрасывая сомнения, я осушил свой бокал тогда до дна, когда ты повернулась ко мне, наклонившись так близко, что все другое перестает иметь значение, прошептав мне жарким дыханием своим в самое ухо:

– Давай сбежим куда-нибудь?!

Я растерялся, представив на секунду отцовский взор, запрещающий мне подобное, и потому я только и могу ответить:

– Н-но... Как же ужин и наши родители... -А, ерунда, – уже громче произнесла ты, поворачиваясь к своему отцу, отвлекая его, и прося о самом для меня сокровенном. – Папа, папочка, ты же не против, если мы с Кристофером не будем вам мешать и немного пройдемся? Иохим Бласс на секунду нахмурился, но потом лицо его разгладилось, и он благосклонно говорит не только нашему столику, но, казалось, и всему залу сразу:

– Отчего же нет, Оливия? Я думаю, что общество трезвого молодого человека повлияет на тебя лучше, чем наше. Я перевел свой взгляд на отца. Он кивнул мне и на секунду я заметил в его глазах что-то такое, чего не видел раньше. Гордость? Удовольствие? Любовь? Я не знаю. Но я видел, как судьба давала мне не просто шанс, она бросала меня прямо навстречу тому, что так сильно поменяет жизнь мою, Оливия. Она наталкивала мой парусник в океане жизни на тебя, мой сокровенный коралловый риф, о который мне придется разбиться, чтобы стать сильнее. Чтобы стать сильнее или сдаться, утонув вовек. Мы сбежали от них тотчас же – убежали к заветной цели нашего маленького путешествия – к балкону, выходящему на северную сторону «Перрена», открывающего вид на самое красивое (после тебя, конечно), что я видел до этой своей новой жизни – Маттерхорн. Балкон этот представлял собой длинную площадку под навесом и со стеклами, так что внезапное апрельское похолодание не было для нас помехой. Мы не были одни – ты же помнишь, что там были и другие, сбежавшие от родителей, жен и мужей, обретшие свое счастье в приятной полутьме, так, как обретали его в тот миг и мы – такие молодые и такие счастливые... Мы подошли к стеклу и засмотрелись на далекое сияние луны, сияющее словно огромный прожектор, освещающее всю красоту природы, окружающую наш отель. Там были верхушки елок, покрытых бледным инеем, а внизу была деревня, от которой, как я знаю, и по сей день отходит поезд до Бирга, потом – до Цюриха, а уже потом – и до города, из которого я родом – до Винтертура

Вечер шел своим чередом, шампанское приятно шумело в голове, а ты была рядом, настоящая и теплая, и выпрямленные для ужина волосы твои так красиво лежали на плечах твоих, говоря мне о том, о чем не скажет ни один философ, и указывая на то, что богини – не вымысел, а правда. До этого момента мы болтали о всякой ерунде, но пришло время для... не знаю точно как сильно, но то, что ты тогда сказала, повлияло на все остальное, помнишь? Иногда, по ночам я слышу эти три слова, словно магическое заклинание, словно молитву на устах у Папы, обращающегося к толпе для обращения к вере или укрепления в ней. Я никогда не забуду эти слова, Оливия. Ты сказала тогда так робко и в то же время уверенно, так красиво и так банально, так сладко и так омерзительно сразу:

– Давай уедем, Кристофер.

«Давай уедем». Словно не было ничего в нашей жизни более важного и ценного, как наши жизни, сплетенные судьбой и удачей в тот счастливый день шестого апреля! Словно бы действие, предложенное тобой, было само собой разумеющимся, понятным и очевидным уже в первый день нашего знакомства. Ты стояла предо мной, заглядывая прямо мне в душу, своими глазами уговаривая на то, чего так хотел я, о чем мечтал я, не желая признаться себе в тот удивительно длинный вечер! Но осознание пришло позже – а тогда я ничего из этого не понял, и попросил тебя повторить, ты помнишь? А после ты посмотрела на меня своими синими, глубокими глазами и сказала то, чего больше мне не говорила ни одна женщина в целом мире:

– Давай – Тише. – уедем. Навсегда. Т-только ты и я, понимаешь? – в глазах твоих тогда заблестели слезы, которые ты смахнула быстрым движением руки. – Я..я не могу так больше. Отец, он... он занятой человек, с которым я не могу видаться так часто, как хотела бы и... Ты понимаешь, о чем я? Я молча качал головой вверх-вниз. Я не верил своим ушам – и совершенно ничего не понимал. Ты предлагала мне убежать. Куда, зачем и для чего? Мне хотелось перебить тебя, растормошить, взять за руки, накричав или успокоив, -тогда я и сам не понимал, чего же мне хотелось больше. Ты была моим идеалом, моей любовью, всей сущностью моего бытия в – но даже в таком слепом поклонении я смутно понимал, что с такими, как я, обычно не сбегают. По крайней мере в день знакомства.

– ...Моя мать, она... ей все р-равно на меня, Кристофер. Мне так тяжело приходилось в последнее время, что я просто... я просто... -Послушай, Оливия, что ты такое говоришь? Мы едва знакомы, и я – не из тех людей, которые бросают... -Нет, нет, нет! – повысила голос ты, так что остальные две парочки удивленно посмотрели на нас. – Я не прошу бросать... ну, то есть прошу, но... Понимаешь, Кристофер, я одинока. Очень одинока. Я приезжаю сюда, на Церматт, с такими мыслями в голове, и тут внезапно врезаюсь в парня. Он... он хороший, добрый и вежливый, и я... я не знаю. Я в отчаянии, правда. Мои мысли очень сильно досаждают мне, и я готова хоть сейчас что-то с этим сделать, понимаешь? – с жаром прокричала ты мне это в лицо, надеясь услышать долгожданный ответ. Но мой ответ скорее разозлил тебя, чем утешил.

– Да, я понимаю. Но, Оливия... У тебя чудесная семья, вы, наверное, роскошно живете, хорошо питаетесь, и тебе нет смысла убежать из дома. Пожалуйста, не стоит говорить такое.

– Да как же ты не понимаешь? Сегодня, шестого апреля – редкий день, когда отец рядом с нами, и я могу побыть рядом с ним! Там, в Берне, он постоянно занят и мне приходится проводить свое время с этой ужасной женщиной, которая постоянно меня донимает! Я..н-не могу так больше, правда... – Тут ты сделала небольшую паузу, после которой понизила голос и продолжила. – Ты хороший парень, Кристофер. Я никогда еще не любила, но в такого, как ты – вполне смогла бы влюбиться навсегда. Не сейчас, но... со временем. Скажи мне еще раз, ты уедешь со мной или нет?

В моей голове творилось что-то невообразимое. Сначала я встретил девушку, в которую влюбился по уши, а потом... Потом она предложила мне то, чего не было даже в самых моих мечтах, она предложила уехать с ней куда-нибудь, бросив все только ради нее! Лишь я и она. Половина души моей, отвечающая за чувства, ответила бы да не раздумывая, после чего жизнь моя, возможно, навсегда изменилась бы, но рациональная половина, противница ее, взывала к здравому смыслу. И дело было вот в чем, Оливия: мне было семнадцать, тебе было не больше, у нас не было образования, денег, не было ничего, что могло бы спасти нас от голодной смерти. Даже если бы я сказал тебе «да», то все вокруг, лишь узнав об этом постыдном бегстве, отвернулись бы от нас в считанные мгновения. У нас могло быть только лишь одно – моя любовь и только (ведь твою пока я не брал в расчет). Но этим, как известно, нельзя быть сытым, или же обутым. Конечно, у меня имелась тогда рабочая специальность, но у нас не было жилья. Слишком многое было поставлено против нас, и столько же, если не больше, было поставлено на карту наших жизней. В моих мечтах перед нами лежал целый мир – и именно поэтому в тот вечер я ответил тебе отказом.

Дальше произошли три вещи, которые позже я слабо пытался связать воедино, хоть и стараясь, как мог. Из прекрасных глаз твоих брызнули слезы, и лицо твое исказила гримаса. Ты в мгновение ока отвела руку куда-то в сторону и ударила с размаху меня по щеке – это второе событие. А после этого ты впервые поцеловала меня, моя Оливия.

Поцелуй тот до сих пор представляю я в своей повседневной жизни, иногда целуя свою жену. Не потому, что она – не тот человек, а потому, что именно тогда я узнал, что такое

любить кого-либо. После тебя все последующие нежности были чем-то вроде жалких пародий и копий, встречающихся чаще, чем хотелось бы, и... Я не могу описать это, как бы ни старался.

Слова путаются под дрожащими руками, промахиваясь мимо кнопок печатной машинки. Мысли мои, прежде бывшие ясными и понятными, запутываются в причудливый узел, словно не желая открыть для тебя и всех тех, кто прочтет это письмо, всю красоту и волнение, связанное в тот день с этим главным, по-настоящему главным событием всей моей жизни. Я погиб в тот вечер и возродился вновь, восстал из смрада и пепла в объятиях твоих, и, поступью пророка зашагал по миру, готовый нести весть о тебе всему свету, моя Оливия.

– Спокойной ночи, Кристофер, – сдавленно сказала ты тогда мне на прощание, распустив руки у меня за шеей. На глазах твоих еще блестели слезы, а губы горели жарким пламенем.

Наутро я первым делом побежал стучаться в твой номер, чтобы потребовать объяснения того, что случилось с нами прошедшим вечером. В голове шумело, но я был по-настоящему счастлив

Девушка в бюро сообщило мне, что семейство Бласс в спешке покинуло «Перрен» глубокой ночью.

5. 1937 – 1939

Что такое это письмо? История нашей жизни, обращение к тебе ли, к потомкам или же случайным нашим знакомым – как знать? Я описываю в нем то, что могу и как могу, все то, что переживал я за годы общие и отдельные, все краски радостей моих и траурные полосы невзгод, прорядившие мою жизнь. Ты все еще читаешь мои откровения? Если да, то ты наверняка успела заметить, как подробно я описал наш первый день, такой важный и незаменимый для нас обоих.

Но я не могу описывать все именно так, погружаясь на самое дно моих кошмаров, переживая заново свою тяжелую и невыносимую жизнь. Память моя (вот же злая штука!) не сохранила в голове ничего, кроме обрывков счастливых и не очень воспоминаний, но не более. Я не вспомню и половины всего того, что происходило с нами, но кое-какие урывки воспоминаний я донесу тебе сквозь туман нашего прошлого, договорились? Я запомнил так немного, так немного... Всего несколько дней, которые повлияли на все. Но дни эти, уверяю, – самое светлое, самое важное, что только было в моей опустевшей жизни. Я попытаюсь передать их со всей честностью, донеся их до глаз твоих со всей возможной четкостью, с какой проступают они на задворках моей памяти, ничего не утаив. Не гневайся, если что-то будет звучать не так, как звучало прежде – я все еще слишком молод, и фантазия моя может случайным образом подменять события, имена и лица, но не во вред тебе и истории нашей, дорогая моя Оливия. В этой части письма я, по возможности кратко, опишу все то, что творилось со мной в период 1937 – 1939 года, я расскажу все то, о чем не хотела слушать ты, снова появившись в моей жизни уже совсем другим человеком, и расскажу я именно так, как не смог бы передать в моей первой приветственной речи спустя несколько лет... Итак, дорогая моя, я начну. Я закончил повествование на том, что ты со своей семьей покинула «Перрен» в ночь с шестого на седьмое апреля. Итак, ты уехала, помнишь? И никогда потом не спрашивала, что было со мной. А в то утро я припелся в номер таким, каким родители мои меня еще не видели. И дело было не в том, что ты уехала, пропала, как тогда я думал, насовсем (хотя и это тоже), а то – что ты так и не смогла сказать даже нескольких слов мне на прощание. Я не знал тогда еще, что на фабрике у твоего отца произошел несчастный случай, и ему, как управляющему и держателю акций, необходимо было вернуться в Берн, а потом и в Цюрих как можно скорее. Не знал я, что ты со своей матерью горячо протестовали против этого решения, но подчинились, скрепя свои сердца. Не знал я, что ты отпросилась у отца на прощание со мной, но так и не решилась разбудить меня, спящего, видевшие чудные сны у себя в номере в половину третьего ночи. Я... я не знал, что стояла ты около четверти часа перед дверью в наш с родителями номер, занеся руку для стука, со слезами, блестящими на щеках твоих. Все это я узнал позже, но тогда это выглядело настоящим предательством. А потом ты уехала. А я – оставался в «Перрене» еще целых три дня, но свет в горах уже не был так ярок, воздух не был так свеж, а жизнь моя с того дня – не была уже так интересна и заполнена кем-то, как в новый, другой день моего рождения – шестого апреля. Нет, я так же ужинал с родителями и их новыми знакомыми, так же покорял крутые спуски и лихие повороты – но человеком прежним, пустым, ненужным и забытым, то есть тем, кем и приехал туда около недели назад. Потом был сбор вещей, памятный завтрак и фото на память на фоне огромного камина в гостевом зале. Я настоял на том, чтобы тот парень из персонала вернул мне фото, наше фото, служащее единственным напоминанием о реальности твоей, о том, что было в моей жизни нечто, что я буду вспоминать все последующие годы, засыпая ли в своей кровати после утомительной смены на текстильной фабрики Винтертура, умирая ли от холода в казарме, забитой приговоренными к смерти людьми, или же лежа, сгорая от лихорадки, в серой прокуренной квартирке на окраине Цюриха, вспоминая о тебе, представляя лицо твое перед своим мысленным взором. Ну а после были добродушные

рукопожатия всем достойным людям, вышедшим провожать нас и вот стояли мы на перроне Церматта, ожидая поезда в Бирг, следующего напрямик до родного Винтертура. Поезд приехал тогда в срок. Мы вернулись домой отдохнувшими, но жизнь моя перестала быть тогда тем, чем стала на один день, изменивший, казалось, самую ее суть. Следующие несколько дней я провел в раскаленном аде. Постоянно думал тогда о тебе, перебирая в голове все сценарии и возможные варианты, почему ты так внезапно исчезла, не оставив никакого намека или даже самой банальнейшей записки. Может быть, в тот вечер ты нашла какого-то другого парня, которому был предложен такой же выбор как и мне, и вот, в тот же вечер, вы бежали под покровом ночи, смеясь под завывания холодного ветра, далеко и еще дальше, чтобы никто в целом свете не мог догнать вас, моя милая? А отец твой, узнав о твоём исчезновении, не остался кротко ожидать скупых крупниц каких-либо новостей – и вот уже он с женой своей, хрупкой женщиной, летел через ночь в нанятой напрокат машине по следу твоему, источая проклятия и угрозы снежной ночи? Тогда я думал так, Оливия – и не мог даже представить, что находился не так уж и далеко от разгадки. И то, что ты исчезла – было фактом настолько явным, что не подвергалось никаким совершенно сомнениям. От тебя не было ни писем, ни вестей. Ты не стала всемирно известной спортсменкой, отличницей, прославившей весь Берн, из под пальцев твоих не родилась необыкновенная симфония или же книга про отель «Перрен». Ты исчезла в суматохе дней, затерялась в расщелине ежедневных забот, и, казалось, была потеряна мною до конца века, до конца света, до конца... конца моей жизни, Оливия. За все годы эти я стал совершенно другим – ни следа не осталось от того юного паренька, рабочего, готового объять своими ладонями целый мир, потому что тебя не было рядом. Потому что не было тебя, да, тебя – той, которая помогла бы мне раскрыть весь свой богатый потенциал, которая бы принимала на веру все мои рассуждения и беспрекословно пошла бы со мной даже в распростертую бездну, Оливия! Но я не стал тем, перед которым открыт весь мир – и я расскажу тебе, почему. Я не обижусь, если ты зевнешь, и перелистнешь сразу несколько страниц, не интересуясь этим, правда. Но мне важно донести до тебя все. Вообще все, что случилось со мной, донести мои мысли и домыслы относительно тебя, рассказать, почему позже я делал тот или иной непростой выбор. И я начну, пока уверен, что ты все еще рядом со мной.

1937 год был годом спокойным... до какого-то момента. Швейцария в тот момент, как ты наверняка помнишь, занимала нейтралитет по отношению к Германии и ее насильственным методам. Более того, наше правительство в конце 30-х всегда открыто осуждало действия наших немецкоговорящих соседей, из чего вытекали следующие противоречия. Так называемая Духовная Оборона, держащая курс на сохранение наших многовековых традиций и ценностей, влияла в то время практически на все отрасли производства, в том числе и на текстиль. На какое-то время выпуск национальной одежды был увеличен вдвое, потому что спрос на нее внезапно возрос. А я... Что я? Мой отец получил повышение после еще двух или трех правительственных заказов, выполненных раньше срока. Для нашей семьи это сыграло решающую роль. Всего за один год мы из нижних слоев среднего класса уже стучались в класс повыше, ослепительно сияя улыбками на небосклоне правящих верхов. Конечно, все было не совсем так – отец получал уже достаточно, чтобы мы могли наконец вздохнуть с облегчением, и попробовать жить так, как мечтали всегда. Но это не было богатством, являясь лишь небольшой прибавкой к нашим сбережениям. Мать настояла на том, чтобы я бросил свою работу. На мои попытки отговорить ее – отец не пришел мне тогда на помощь. Они совершенно точно решили, что мое образование стоит в десятки раз выше, чем любая прибавка к деньгам. Так я продолжил обучение после трех лет работы на заводе, дорогая моя. А в это время там, на горизонте, творилось что-то нехорошее. Все началось через пару недель после нашего приезда. Германский легион «Кондор» 26го апреля уничтожил испанский город Гернику в стране Басков. Это явилось отправной точкой долгого противостояния многих мировых держав. Испания в то время находилась в состоянии гражданской войны, но именно этот случай показал всему миру, что

Германия настроена серьезно на показ своей силы. Тысячи мирных жителей, предметы культуры и искусства были попросту уничтожены в тот день. Я смутно помню, как после, в течение недели, в цехах только об этом и было слышно. С того времени обстановка только накалялась, дорогая моя. Я каждодневно слышал негатив, обращенный против Германии, каждый швейцарец, будь то рабочий или член Совета, негодовал при упоминании этой страны. Отец вынудил меня тогда вступить в небольшую коммерческую организацию, собранную под эгидой Духовной Обороны. Название я, если честно, не могу никак вспомнить, но и не нужно тебе этого, ведь так? Важно, что и там я, как ожидалось, не занял никакого важного положения, и лишь обязан был появляться и слушать, слушать, слушать... Про равноправие, терпимость, многопартийность, опять равноправие... Дорогая моя, я надеюсь, ты не входила в подобные организации? Я очень надеюсь, что нет. А потом были будни. Школа, успевшая испариться уже к тому времени из моей памяти и вечера и ночи, проведенные на заводе, перетекающие в новые дни. Долгие, черные, густые из-за дыма текстильной фабрики, дыма, которого я ненавидел, которым приходилось дышать, чуя его даже дома, засыпая... Я работал тогда подолгу, помногу, как в последний раз в своей жизни, Оливия. Не потому, что я нуждался в деньгах, которые мне, по сути, некуда было девать, о нет. Работая, я забывал о тебе. Мои руки дрожали от перенапряжения, но я таскал тяжелые тюки с нитями, весело перебрасывался фразами с коллегами, улыбался и пел, если пели вокруг. Я старался отгородиться от прошлого, забыть тот однодневный рай, в котором жил я, не тревожась и не боясь за свое будущее. Но знаешь, что было самое тяжелое? Когда, уставший и грязный, я возвращался после вечерней смены домой и без сил падал на кровать – не сон шел мне первым делом же в голову, не надвигающаяся новая война (а уже тогда, в 37ом, все ясно понимали, что она не за горами), о, поверь, там было кое-что, сильнее владеющее моим неокрепшим еще разумом. Ты была тем, что парило надо мной, укутывая и качая на руках, словно сонного младенца в пелене прозрачной неги и удовольствия, и только тогда я успокаивался и засыпал с твоим именем на устах и твоим образом сквозь закрытые глаза мои, преследующем меня наяву и во снах. Я тогда еще не понимал, что именно благодаря тебе я держался все это время. Потом, за эти годы случились многие события, изменившие привычный уклад этого мира: аншлюс Австрии, Мюнхенское соглашение, «Хрустальная ночь». В Германии к власти пришел Гитлер, произошел погром мелких еврейских лавок, тотальные беспорядки по всему миру происходили, не нарушая канонов истории – а я... я просто жил. После того разговора с родителями я отправился доучиваться в неплохую школу, где заново открыл для себя некоторые предметы, такие как математика и физика. Мне стукнуло 18 в январе, Оливия, и я... Я был уже почти взрослым. На лице моем начали появляться первые мужские признаки, я немного подрос за это время, а от тебя все так же не было вестей. И пусть изменения сейчас самого себя пугают, пусть война изменила меня, открыв худшие мои стороны, но... В глубине души я навсегда остался тем смущенным пареньком, в которого ты врезалась тогда на Маттерхорне. Да, я изменился внешне, мое лицо стало взрослее, но, Оливия... Я пишу и вспоминаю каждую ночь, которая была без присутствия твоего, когда звезды и лишь они могли понять меня. Почему? Потому что и они, словно старые влюбленные, разбрелись по небосклону на миллиарды километров, далеко друг от друга и еще дальше, такие яркие, свободные... Несчастные. Как и мы тогда, ты помнишь?

Но я не могу писать лишь о себе, правда. Иногда меня уносит куда-то в сторону и не всегда получается вернуться. Я помню, как начинался 1939 год. Я словно бы вижу себя со стороны – мне 19, я полон жизни и наконец-то летом я готов стать свободным. За моими плечами останется текстильная фабрика и школа, и я поеду изучать этот дивный новый мир дальше. Оказалось, что отец давно откладывал мне на обучение, но узнав, что я не собираюсь продолжать, он согласился с моим доводом о собственном жилье. За спиной моей – много труда и учебы, много хорошего и сносного, но так же было и кое-что плохое. За спиной моей тогда оставалась ты, как призрак, бесплотный и неосязаемый, и Маттерхорн напоминал мне особен-

ное место памяти, святыню и реликвию – все вместе. Я твердо решил летом уехать туда, в деревушку, расположенную чуть ниже Перрена. Быть может, однажды, я выйду на работу и улыбкой встречу поезд из Бирга, прибывающий туда раз в двое суток. А там ты, такая... небесная, выйдешь из купе и увидишь меня, повзрослевшего, в лучах потускневшего солнца, и заалееет лицо твое, губы, как всегда, искривятся в особенной, твоей улыбке, и ты скажешь мне просто, будто не было бы этих трех лет:

– Привет, Кристофер

Я считал дни до начала июля, когда наконец смог бы уехать я из надоевшего мне до безумия Винтертура, ждал, считая секунды, ритмичного стука колес поезда сначала до Цюриха, потом – до Бирга, а потом уже до Юго-Восточной части главного достояния Швейцарии (после часов, сыра и шоколада, разумеется) – Алып. На мировой арене с новой силой разгоралась Гражданская война в Испании, Советы начинали масштабную операцию где-то на Востоке, а где-то в тесных кабинетах Рейха тайно подписывался Стаальной пакт.

Жизнь шла своим чередом – и вот уже 14 июля я целую в последний раз свою маму, обнимаю растроганного вконец отца и сажусь в поезд до Цюриха, где потом должен пересесть до Бирга или Тэша, а оттуда уже – в Церматт. И билет до Цюриха был только в одном направлении, Оливия.

6. Поезд «Цюрих – Тэш»

Колеса мерно стучали по рельсам; я помню, как открывал глаза и в первые секунды не видел ничего. Дорога была серой пеленой тумана, завесой дождя, бьющего прямо в стекло просторного купе, в котором ехал я совсем один. Что-то снилось мне, что-то по-настоящему летнее и солнечное, словно не было той погоды и неосязаемого ощущения безвыходности, заволокшего мою повзрослевшую за те годы голову. В такую погоду я не мог совсем думать ни о чем, кроме как о тщетности попыток моих изменить что-либо, о судьбе, разделившей нас, раскидавшей по свету, словно таинственные космические артефакты разметав по бескрайнему небу. Я поднимал к глазам часы, дешевые часы, купленные мною недавно, и думал о том, как долго уже ехал я навстречу своей судьбе. Я сел на поезд около двух часов пополудни, а путь составлял три часа и двенадцать минут. Минута сменялась минутой, и мой путь неуклонно подходил к Тэшу, где, спустя некоторое время, я должен был пересестись до деревни Церматт. Там мне предстояло первым делом поехать в контору, которую мне посоветовала та милая дама из Цюриха, занимающаяся недвижимостью. Я планировал свою жизнь, словно взрослый человек – и не мог не признавать, что мне это ужасно нравилось. Складывалось такое ощущение, что я бежал. Сам не знаю от чего, но бежал. В моем увесистом чемодане не было практически ничего, кроме денег. Там не было книг, других брюк или рубашки; предметы личной гигиены, правда, лежали в боковом отсеке. Он был заполнен, это правда, Оливия. Но тем ли, что мне было нужно? Я правда не знаю, до сих пор не знаю, хотя тогда мне казалось, что все идет точно намеченному плану. Прости меня, дорогая и далекая Оливия – иногда я забываю, что хочу сказать. Это письмо... оно сильно давит на мое мироощущение – вот я здесь, и сразу нет меня, потерян в мыслях и строках, в своей памяти и событиях, местах и датах. Я впадаю в состояние беспомощной горячки, и слова льются и льются, прокладывая путь между нашими душами. Понимаешь? Когда я пишу – я вновь вижу тебя перед глазами, и образ твой размытый и нечеткий, разбитый по временам и событиям – Церматт, Прага, Будапешт и квартира, наша квартира, дорогая моя. Ты сидишь прямо сейчас передо мной, в 1950м году, и лицо твоё блестит сквозь пелену моих слез, хотя тебя давно уже нет рядом со мной. Это... это не передать словами. Я забываю, где я и что я, почему и для чего я всем этим занят... Но ты – ты поймешь меня, я знаю, знаю, знаю! Потому что только твое одобрение может принести покой мне, именно тогда, когда больше нет ни единого выхода. Извини, что отвлекся. Так вот, сидел в том купе, одинокий, разбуженный, под звуки летнего дождя, и пытался занять себя чем-нибудь. Тебе, наверное, интересно, как я тогда выглядел? Ох, Оливия, совершенно обычно. На мне был твидовый пиджак, торчащий немного, но тем не менее удобный, широкие брюки и начищенные до блеска так называемые «эурланские мокасины», набравшие в то время популярность среди молодежи. Перед отъездом я побрил свои уже немного заросшие щеки, так что в пути они приятно зудели, заставляя меня довольно часто подносить руку к лицу. Я был еще молод, чтобы носить такой взрослый костюм, дорогая моя. Но я делал первые шаги навстречу своей жизни, и мое особое положение обязывало меня примерять атрибуты взрослой жизни.

– Ваш билет, пожалуйста! – Голос вырвал меня из транса, и, оборачиваясь к двери, я увидел в проходе контролера, пожилого уже мужчину, с недоверием косящегося на юношу, одетого не по годам. В глазах юноши он, наверное, видел усталость, не сумев не заметить большой коричневый чемодан, стоящий на кресле, предназначенном для пассажиров

– Да, конечно, все верно – ответил ему я, доставая билет. Он сверил его со своими записями, потом утвердительно покачал головой, и лицо его наконец расплылось в улыбке. Но уходить он не собирался – это бросалось в глаза, даже такие неопытные, как мои тогда.

– Молодой человек, вы не против ответить на пару вопросов?

Не против ли был я? Конечно, нет. Я старался быть вежливым, потому что становился другим человеком. Я старался быть вежливым не потому, что так хочет отец или мать, не потому, что так принято или заложено в качестве законов на камне Божьем – просто я старался выглядеть взрослее, дорогая. Именно поэтому я ответил ему, широко улыбаясь:

– Да, конечно.

Контролер еще раз внимательно осмотрел меня, прежде чем сделать шаг в мою сторону. Он оглядел сиденье, прежде чем сесть. Взгляд его был тактичен и вежлив, не задерживался на обстановке дольше двух секунд, и не блуждал, как обычно бывает у занятых людей. Он производил впечатление человека осмотрительного и вежливого, тщательно взвешивающего каждое свое, пусть даже самое незначительное движение. Он был немолод, толст, краснощек – но это не вызывало обычного моего раздражения, которое я испытывал к другим незнакомым мне людям. И тогда, усевшись и подготовившись, он плавно поднял руку с сидения, протягивая мне со словами:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.